9(с)1
К 835

П. КРОПОТКИН

КРЕПОСТЬ И ПОБЕГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

9(С)1
К835

П. КРОПОТКИН

К835

КРЕПОСТЬ И ПОБЕГ

СОКРАЩЕННЫЙ ОТРЫВОК ИЗ „ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА“

К835

Библиотека Государственного музея детской книги

ГРАВЮРЫ
П. СТАРОНОСОВА

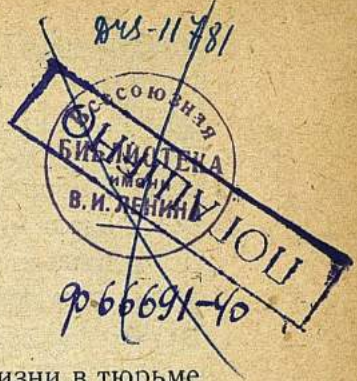
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1930 ЛЕНИНГРАД

675128 КХ. Рсд

Российская государственная
Детская библиотека

244020

Издательство „Детская литература“



ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книжке рассказывается о жизни в тюрьме и о побеге известного революционера Петра Алексеевича Кропоткина.

Кропоткин родился и вырос еще в то время, когда в России существовало крепостное право, когда крестьяне были собственностью дворян - помещиков. В 1861 году крепостное право было уничтожено. Но «воля» не улучшила положения крестьян. Крестьяне были обложены большими налогами. Они беднели, и многие из них шли в города, на фабрики и в мастерские, к капиталистам, где работали по 15 и 17 часов в сутки за нищенскую плату.

Очень многие из учащейся молодежи решили встать на борьбу за освобождение народа от эксплоатации. К числу таких людей принадлежал и П. А. Кропоткин.

Он был одним из первых русских революционеров-народников, которые шестьдесят лет тому назад пошли в деревни, на фабрики и на заводы и

стали призывать рабочих и крестьян к борьбе с царским самодержавием и буржуазным строем.

Кропоткин был сын богатого князя-помещика. По распоряжению царя его отдали учиться в Пажеский корпус, где воспитывались сыновья близких к царю министров и генералов. П. А. Кропоткин кончил корпус первым учеником, и царь предложил ему остаться служить в Петербурге.

Но П. А. Кропоткин не мог жить так, как жили его родные и знакомые. Он понял, что царь, дворяне и капиталисты — враги трудящихся. И он ушел из своей семьи, бросил богатую жизнь и стал бороться за освобождение народа от гнета власти и капитала. За это он и был посажен по распоряжению царя в тюрьму. В тюрьме он просидел более двух лет. Благодаря помощи своих товарищей, ему удалось в 1876 году убежать из тюрьмы за границу.

В Европе П. А. Кропоткин прожил целых сорок лет. Сделавшись известным ученым, он занимался революционной деятельностью, принимая участие в рабочем движении Запада. За революционную деятельность Кропоткин был изгнан из Швейцарии, а французское правительство продержало его четыре года в тюрме.

После революции 1917 года П. А. Кропоткин вернулся в Россию. Но ему было уже 75 лет и он часто хворал. 8 февраля 1921 г. он умер от воспаления легких.

I

Итак, я был в Петропавловской крепости, где за последние два века гибли лучшие силы России. Самое ее имя в Петербурге произносилось вполголоса.

Первым движением моим было подойти к окну. Оно было прорезано в виде широкого низкого отверстия в двухаршинной толстой стене на такой высоте, что я едва доставал до него рукой. Оно было забрано двумя железными рамами со стеклами и, кроме того, решеткой. За окном, саженях в пяти, я видел пред собою внешнюю крепостную стену необыкновенной толщины; на ней виднелась серая будка часового. Только глядя вверх, мог я различить клочок неба.

Я тщательно осмотрел камеру, в которой, быть может, мне предстояло провести несколько лет. По положению высокой трубы монетного двора я догадался, что моя камера находится в юго-западном углу крепости, в бастионе[1], выходящем на Неву. Здание, в котором я сидел, было, однако, не бастион, а то, что в фортификации[2] называют редюит, то есть внутреннее, пятиугольное, двухъэтажное каменное здание, поднимающееся несколько над стенами бастиона и заключающее два этажа пушек. Моя камера была казематом[3], предназначавшимся для большой пушки, а окно — его амбразура. Солнечные лучи никогда не проникали туда. Даже летом они терялись в толщине стены. Меблировку составляли: железная кровать, дубовый столик и такой же табурет. Пол был покрыт крашеным войлоком, а стены оклеены желтыми обоями. Чтобы заглушить звуки, обои были, однако, наклеены не непосредственно на стену, а на полотно, под которым я открыл проволочную сетку, а за ней слой войлока. Только под ним мне удалось ьнащупать камень. У внутренней стены стоял умывальник .В толстой дубовой двери было прорезано запиравшееся квадратное отверстие, чтобы подавать через него пищу, и продолговатый глазок со стеклом, закрывавшийся с наружной стороны

[1] Бастион—пятиугольное укрепление.
[2] В военных науках.
[3] Каземат—места заключения в крепости для политических преступников.

маленькою заслонкою. Через этот глазок часовой, стоявший в коридоре, мог видеть во всякое время, что делает заключенный. Действительно, он часто поднимал заслонку глазка, причем сапоги его жестоко скрипели всякий раз, как он по-медвежьи подкрадывался к моей двери. Я пробовал заговорить с ним; но тогда глаз, который я видел сквозь стеклышко, принимал выражение ужаса, и заслонка немедленно опускалась. И через минуту или две я опять слышал скрип, но никогда я не мог добиться ни слова от часового. Кругом царила глубокая тишина. Я придвинул табуретку к окну и стал смотреть на клочок неба. Тщетно старался я уловить какой-нибудь звук с Невы или из города на противоположном берегу. Мертвая тишина начинала давить меня. Я попробовал петь, вначале тихо, потом все громче и громче: «Ужели мне, во цвете лет, любви сказать: прости навек», — пел я из «Руслана и Людмилы».

— Господин, не извольте петь! — раздался густой бас из-за двери.

— Я хочу петь и буду.

— Петь не позволяется,—басил солдат.

— А я все-таки буду.

Тогда явился смотритель, начавший убеждать меня, что я не должен петь, так как об этом он вынужден будет доложить коменданту крепости, и так далее.

— Но у меня засорится горло, и легкие оту-

чатся действовать, если я не буду ни говорить, ни петь, — пробовал убеждать я.

— Уж вы лучше пойте вполголоса, про себя, — просил старый смотритель.

Но в просьбе не было надобности. Через несколько дней у меня пропала охота петь.

«Самое главное, — думал я,— сохранить физическую силу. Я не хочу заболеть. Нужно себе представить, что предстоит провести несколько лет на севере во время полярной экспедиции. Буду делать много движения, гимнастику, — не надо поддаваться обстановке. Десять шагов из угла в угол уже не худо. Если пройти полтораста раз, вот уже верста». И я решил делать ежедневно по семи верст: две версты утром, две — перед обедом, две — после обеда и одну—перед сном. «Если положить на стол десять папирос и передвигать одну, проходя мимо стола,— думал я, — то легко сосчитаю те триста раз, что мне надо пройти взад и вперед. Ходить надо скоро, но поворачиваясь в углу медленно, чтобы голова не закружилась, и всякий раз в другую сторону. Затем дважды в день буду проделывать гимнастику с моей тяжелой табуреткой». Я поднимал ее за ножку и держал в вытянутой руке, затем вертел ее колесом и скоро научился перебрасывать ее из одной руки в другую через голову, за спиной и между ногами.

Через несколько часов после того, как меня привезли, явился смотритель и предложил кое-какие книги. Я попросил письменные принадлежности,

но мне наотрез отказали. Перья и чернила никогда не выдаются в крепости иначе, как по специальному разрешению самого царя.

Мой брат Саша поднял тогда на ноги всех наших ученых знакомых в Географическом обществе и Академии наук, чтобы добыть мне право писать в крепости. Перо и бумага строго запрещены в крепости, но если Чернышевскому и Писареву было позволено писать, то на это требовалось особое разрешение самого царя.

Наконец разрешение было получено, и в один прекрасный день ко мне вошел смотритель Богородский, говоря, что мне разрешено писать мой ученый отчет и что мне нужно составить список книг, которые мне нужны. Я написал полсотни книг — и он пришел в ужас. «Столько книг ни за что не пропустят,—говорил он,— а вы напишите книг пять — десять, а потом понемногу будете требовать, что вам нужно». Я так и сделал и, наконец, получил книги, перо и бумагу. Бумага мне выдавалось по стольку-то листов, и я должен был счетом иметь ее у себя в полном комплекте; перо же, чернила и карандаши выдавались только до «солнечного заката». — «Так приказал государь, давая вам разрешение».

II

Итак, я мог снова работать.

Трудно было бы выразить, какое облегчение я почувствовал, когда снова мог писать. Я согла-

Всесоюзная
БИБЛИОТЕКА
имени
В. И. ЛЕНИНА

сился бы жить на хлебе и воде, в самом сыром подвале, только бы мне разрешили работать.

Я был, однако, единственный заключенный в крепости, которому разрешили письменные принадлежности. Некоторые из моих товарищей, которые провели в заключении три года и даже больше, имели только грифельные доски. Конечно, в страшном уединении крепости они рады были даже доске и исписывали ее словами изучаемого иностранного языка или математическими формулами. Но каково писать, зная, что все будет стерто через несколько часов!

Моя тюремная жизнь приняла теперь более правильный характер. Было нечто, непосредственно наполнявшее жизнь. К девяти часам утра я уже кончал мои первые две версты и ждал, покуда мне принесут карандаши и перья, чтобы начать мою работу. В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом книг по истории. Прочел я также много романов. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса, и весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.

III

Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то

ни было. Мертвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи, помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония, точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать после всего этого часы отзванивают еще более фальшиво «Боже, царя храни». Днем все это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идет бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Еще час, еще четверть часа твоего бесплодного прозябания прошло», — напоминают колокола, — и никто не знает, даже сам, кто тебя держит, сколько еще пройдет таких бесплодных часов, дней, годов... много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы...

Мертвая тишина кругом...

Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо — нет ответа, налево — нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в

надежде услыхать хоть какой-нибудь, хоть издалека, неясный ответный гул — его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.

Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Еще меньше света проникало там в каземат — и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну.

Но и там, внизу, ниоткуда не мог я добиться хотя бы глухого стука в ответ на мой стук.

Каждый день, если дождь не лил или пурга не мела, меня выводили гулять. Часов около одиннадцати являлся унтер в мягких войлочных калошах сверх сапог и вносил мою одежду: панталоны, сюртук, сапоги, шубу. Я торопился одеться и радовался, если успевал пройти десяток раз из угла в угол — лишь бы услыхать стук своих собственных каблуков...

Если я спрашивал крепостного унтера, приносившего платье, хороша ли погода, нет ли дождя, он испуганно взглядывал на меня и уходил не отвечая; караульный солдат и унтер из караула стояли в дверях и не спускали глаз с крепостного унтера, готовые сфискалить, если бы он заговорил со мною.

Затем меня вели гулять.

Я выходил во внутренний дворик редута[1], где

[1] Редут — временное укрепление, представляющее квадрат, охваченный земляным валом и наружным рвом.

стояла банька и прохаживались два солдатика из караула. Я пытался с ними заговаривать, но они молчали.

Я ходил, ходил в круговую по тротуарику пятиугольного дворика и изо дня в день видел все то же и то же.

Изредка воробей залетал в этот унылый дворик; иногда, когда вокруг ветер был с той стороны, тяжелые хмурые пары, выходя из высокой трубы монетного двора, окутывали наш дворик, и все начинали отчаянно кашлять. Иногда, очень редко, видел я дочь, должно быть, смотрителя, выходившую из его крыльца и проходившую шагов десять по тротуарику в ворота, которые тотчас запирались за нею, затем слышался стук другой отпертой калитки — стало-быть, она вышла. Она выходила обыкновенно из своей квартиры тогда, когда я был на другой стороне дворика, а если я слышал звонок у калитки и она входила во дворик, возвращаясь домой, ее пропускали тоже так, чтобы не встретиться. И она торопилась пройти, не смея взглянуть, как бы стыдясь быть дочерью нашего смотрителя.

Еще на праздниках я несколько раз видел кадетика лет пятнадцати — сына смотрителя. Он всегда так ласково, почти любовно смотрел на меня, что, когда я бежал, я сказал товарищам, что мальчик, наверное, симпатично относится к заключенным. Действительно, я узнал потом, в Женеве, что едва его произвели в офицеры, он присоединился, ка-

жется, к партии «Народной воли», помогал переписке между революционерами и заключенными в крепости; затем его арестовали и сослали в Восточную Сибирь, в Тунку.

Еще помню я, что летом около бани выросло несколько цветков; голые, худосочные, они все-таки пробились сквозь камни мощеного дворика на южной стороне бани, и, увидав их, я сошел с тротуарика и подошел к ним. Оба сторожа и унтера бросились ко мне: «Пожалуйте на тротуар». Я подошел к цветкам. Все три стража уставились на меня, стоя вокруг меня,— все удовольствие было испорчено, и я более не стал подходить к цветам.

Вот одно, другое, третье, десятое, пятнадцатое решетчатое окно... а вот опять первое... только и было разнообразия в этом дворике. Раз или два залетел воробей, и это было событие.

И я ходил и обыкновенно глаз не спускал с золоченого шпица Петропавловского собора. Он один менялся изо дня в день, то горя ярким золотом под лучами солнца, то скрывая свой блеск под дымчатою пеленою серого легкого тумана, то хмурясь, когда темные свинцовые облака ползли в зимнюю пору над Невою, и шпиц темнел, поднимаясь в небо стальной иглой.

«Этак и счет дням потеряешь», — говорил я себе и с первого же дня сделал себе календарь.

У меня были две пары очков—одни для письма, другие для улицы, и одна пара была в кожаном

футляре, разграфленном квадратными линиями на ромбики. Я сосчитал: их было на обеих сторонах более сотни. Каждый мог сойти за неделю, и, ложась спать, я ножом выдавливал каждый день палочку поперек ромба. Я знал, таким образом, день недели и число.

Большие праздники мне напоминала пушечная пальба, начинавшаяся из пушек нашего бастиона. Один раз началась пальба не в назначенный день и час. Я с трепетом прислушивался— не будет ли сто один выстрел: может быть царь умер. Но оказалось всего тридцать один выстрел: значит, в царской семье прибавился новорожденный.

Пришла зима, и пришли тяжелые, темные, сумрачные дни. Каземат топили так жарко, что я задыхался. Иногда он наполнялся угаром... Я звонил, просил открыть вьюшки, но это делали неохотно, и трудно было этого добиться.

По вечерам в каземате было жарко, как в натопленной бане, и так же чувствовалось, что воздух полон парами. Я просил, настаивал, чтоб не топили так жарко, и как только заслышу, что закрывают трубу, упрашиваю, требую, чтоб не закрывали.

— Сыро у вас будет, очень сыро, — предупреждал полковник, но я предпочитал сырость этой жарко натопленной и угарной атмосфере и добился, чтоб печь не закрывали так рано.

Тогда наружная стена стала становиться совсем мокрою. На обоях показалась сырость, что даль-

ше, то больше, и наконец желтые полосатые обои стали совсем мокрые, точно на них каждый день выливали кувшин воды. Но выбора не было, и я предпочитал эту сырость жаре, от которой у меня разбаливалась голова.

Зато ночью я сильно страдал от ревматизма. Ночью вдруг температура в каземате сразу понижалась. По полу шел ток холодного воздуха, и сразу сырость в каземате становилась как в погребе. Как бы жарко ни было натоплено, ток холодного воздуха шел по коридору, врывался в каземат, пары сгущались, и у меня начинали жестоко ныть колени. Одеяла были легкие, но и никакие одеяла бы не помогли; все пропитывалось сыростью: борода, простыни, и начиналась «зубная боль» в костях. Еще в Сибири, раз возвращаясь осенью вверх по Амуру на пароходе, на узенькой койке, и не имея запасной одежды, чтобы отгородиться от железной наружной стенки парохода, я нажил ревматизм в правом колене. Теперь в крепостной сырости колени отчаянно ныли.

Я спрашивал смотрителя, откуда этот внезапный холод, и он обещался зайти ночью и зашел раз ночью совершенно пьяный. Впоследствии в Николаевском госпитале караульные солдаты говорили мне, что смотритель с ними пьянствовал по ночам по-фельдфебельски. Вероятно, караульные и выходили проветриваться, и оттого по коридору несло холодным воздухом.

675128
Российская государственная
библиотека

Единственная человеческая речь, которую я слышал, была по утрам, когда смотритель заходил ко мне.

— Здравствуйте, здравствуйте. Не нужно ли чего купить?

— Да, пожалуйста, четверть фунта табаку и сотню гильз.

— Больше ничего?

— Нет, ничего. — Только и было разговора.

Мы сами набивали папиросы. «Все-таки занятие», — посоветовал смотритель с первого же дня.

Я продолжал бегать свои семь верст по каземату, делал свои двадцать минут гимнастики, но зима брала свое. Становилось все темнее и темнее; иногда, когда небо было сумрачное, и в два часа ничего не было видно, а в десять часов утра в каземате бывало еще совсем темно.

Мрачно становилось на душе в эти темные дни, а когда показывалось солнце, оно и не доходило до каземата, а лучи его терялись в толщине стены, освещая какой-нибудь уголок амбразуры.

Мрачные зимние дни скучны в Петербурге, если сидеть в комнате, не выходя на людные освещенные улицы. Еще скучнее и мрачнее они в крепостном каземате.

IV

Раз, летом 1875 года, я ясно расслышал в соседней со мною камере легкий стук каблуков, а несколько минут спустя я уловил и отрывки раз-

Научная библиотека дома детской книги издательство ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
БИБЛИОТЕКА государствен. музея ДЕТСКОЙ КНИГИ

говора. Женский голос слышался из каземата, а в ответ ему ворчал густой бас, должно быть часового. Вскоре вслед за тем послышался звон шпор полковника, поспешные его шаги, ругательство по адресу часового и щелканье ключа в замке. Полковник сказал что-то.

— Мы вовсе не разговаривали,—раздался в ответ женский голос. — Я просила только позвать унтер-офицера, а часовой отказывался.

Дверь опять заперли, и я слышал, как полковник вполголоса честил часового.

Итак, я был уже не один. У меня была соседка, которая сразу нарушила строгую дисциплину, связывавшую до тех пор солдат. С этого дня крепостные стены, которые были немы пятнадцать месяцев, ожили. Со всех сторон я слышу стук ногой о пол: один, два, три, четыре... одиннадцать ударов, двадцать четыре удара, пятнадцать. Затем пауза; после нее — три удара и долгий ряд тридцати трех ударов. В том же порядке удары повторялись бесконечное число раз, покуда сосед догадывался, что они означают вопрос: «Кто вы?» Таким образом «разговор» завязывался и велся затем по сокращенной азбуке, придуманной еще декабристом Бестужевым. Азбука делится на шесть рядов, по пяти букв в каждой. Каждая буква отмечается своим рядом и своим местом в ряду.

К великому моему удовольствию, я открыл, что с левой стороны сидел мой друг Сердюков, с которым мы вскоре могли перестукиваться обо

всем, в особенности употребляя наш шифр. Однако беседы с людьми в тюрьме приносят не только свои радости, но и свои горести. Подо мной сидел крестьянин по фамилии Говоруха, знакомый Сердюкова, с которым он перестукивался. Против моей воли, часто даже во время работы, я следил за их переговариванием. Я тоже перестукивался с ним. Но если одиночное заключение без всякой работы тяжело для интеллигентных людей, то гораздо более невыносимо оно для крестьянина, привыкшего к физическому труду и совершенно неспособного читать весь день под ряд. Наш приятель-крестьянин чувствовал себя очень несчастным. Его привезли в крепость после того, как он просидел уже два года в другой тюрьме, и поэтому он был уже надломлен. Преступление его состояло в том, что он слушал социалистов. К великому моему ужасу, я стал замечать, что крестьянин порой начинает заговариваться. Постепенно его ум все больше затуманивался. И мы оба с Сердюковым замечали, как шаг за шагом, день за днем он приближался к безумию, покуда разговор его не превратился в настоящий бред. Тогда из нижнего этажа стали доноситься дикие крики и страшный шум. Наш сосед помешался, но его, тем не менее, еще несколько месяцев продержали в крепости, прежде чем отвезти в дом умалишенных, из которого несчастному не суждено уже было выйти. Присутствовать при таких условиях при медленном разрушении человеческого

ума — ужасно. Я уверен, это обстоятельство содействовало увеличению нервной раздражительности моего милого друга Сердюкова. Когда после четырех лет заключения суд оправдал его и его выпустили, он застрелился.

Раз мне нанесли неожиданный визит. В мою камеру в сопровождении только адъютанта вошел брат Александра II, великий князь Николай Николаевич, осматривавший крепость. Дверь захлопнулась за ним. Он быстро подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, Кропоткин». Он знал меня лично и говорил фамильярным, благодушным тоном, как со старым знакомым.

— Как это возможно, Кропоткин, чтобы ты, камер-паж, бывший фельдфебель, мог быть замешан в таких делах и сидишь теперь в этом ужасном каземате?

— У каждого свои убеждения, — ответил я.

— Убеждения? Так твое убеждение, что нужно заводить революцию?

Что мне было отвечать? Сказать «да»? Тогда из моего ответа сделали бы такой вывод, что я, отказавшийся давать какие бы то ни было показания жандармам, «признался во всем» брату царя. Николай Николаевич говорил тоном начальника военного училища, пытающегося добиться «признания» от кадета. И в то же время я не мог ответить «нет»: то была бы ложь. Я не знал, что сказать, и молчал.

STAPONDOOR

— Вот видишь! Самому тебе стыдно теперь...

Это замечание разозлило меня, и я ответил довольно резко: «Я дал свои показания судебному следователю на допросах: мне нечего прибавлять».

— Да ты пойми, Кропоткин, — сказал тогда Николай Николаевич самым благодушным тоном, — я говорю с тобой не как судебный следователь, а совсем как частный человек. Совсем как частный человек, — прибавил он, понизив голос.

Мысли вихрем кружились у меня в голове. Передать царю через посредство его брата о разорении России, об обнищании крестьян, о произволе властей, о неминуемом страшном голоде? Сказать, что мы хотели помочь крестьянам выйти из их отчаянного положения, придать им бодрости? Попытаться таким образом повлиять на Александра II? Мысли эти мелькали одна за другой у меня в голове. Наконец я сказал самому себе: «Никогда! Это безумие. Они все это знают. Они — враги народа, и такими речами их не переделаешь».

Я ответил, что он для меня всегда остается официальным лицом и что я не могу смотреть на него как на частного человека.

Николай Николаевич стал тогда задавать мне всякие безразличные вопросы.

— Не в Сибири ли от декабристов ты набрался таких взглядов?

— Нет. Я знал только одного декабриста и с тем никогда не вел серьезных разговоров.

— Так ты набрался их в Петербурге?

— Я всегда был такой.

— Как! Даже в корпусе? — с ужасом переспросил он меня.

— В корпусе я был мальчиком. То, что смутно в юности, выясняется потом, когда человек мужает.

Он задал мне еще несколько подобных вопросов, и, как он говорил, я ясно понимал, к чему он ведет. Он пытался добиться от меня «признаний», и я живо представил себе мысленно, как он говорит своему брату: «Все эти прокуроры и жандармы дураки. Кропоткин им ничего не отвечал, но я поговорил с ним десять минут, и он все мне рассказал». Все это начинало меня бесить. И когда Николай Николаевич заметил мне нечто вроде: «Как ты мог иметь что-нибудь общее со всеми этими людьми, с мужиками и разночинцами», я грубо отрезал: «Я вам сказал уже, что дал свои показания судебному следователю». Он резко повернулся на каблуках и вышел.

V

Отказавшись давать какие-либо показания, я этим купил себе спокойствие. Меня уже больше не тревожили, и только два раза водили на допрос. Следственная комиссия заседала теперь в крепости, в куртине [1], соединяющей Екатеринин-

[1] Куртина — часть крепостной ограды между бастионами.

ский бастион со следующим влево. Тут сидели в шестьдесят шестом году каракозовцы. Тут же заключенные давали и показания.

Председателем следственной комиссии был жандармский полковник Новицкий — человек чрезвычайно деятельный, умный и, если бы не его жандармская деятельность, даже приятный человек: ничуть не злой в душе.

Раз меня привели к нему. Он усадил меня в кресло, предложив своих папирос, от которых я отказался, закурив свою, и показал мне мою рукопись. Это был написанный мною конец к брошюре «Пугачевщина» Тихомирова. Рядом была наша брошюрка, напечатанная в Цюрихе уже после моего ареста. Я очень ей обрадовался. — «Ах, покажите, пожалуйста, я ее еще не видел».

Он принялся читать по моей рукописи, предлагая мне следить по печатной брошюрке, очень мило отпечатанной хорошим четким шрифтом, без опечаток. Новицкий читал отлично и понемногу стал увлекаться; картина вольных общин, соединенных вольными союзами, владеющих всей землей, без попов, господ и чиновников, управляющихся вечем и вступающих в союзы, как средневековые общины, была набросана довольно увлекательно, и Новицкий читал с жаром, увлекаясь все более и более.

Вдруг он прервал со смехом и обратился ко мне:

— Да неужели, князь, вы верите, что все это возможно среди нашей русской тьмы? Все это пре-

красно, чудно, но ведь на это надо двести лет, по крайней мере.

— А хоть бы и триста.

— Итак, вы признаете, что это ваша рукопись?

— Конечно.

— И это с нее отпечатано?

— Сами видите.

— Мне только нужно было вам это показать. Вы можете, если хотите, вернуться.

— Да, — ответил я, — все это прекрасно, великолепно, а пока пожалуйте в крепость.

— Ничего, пойдите пока.

Он переконфузился... встал провожать меня и в дверях, протягивая мне руку, которой я не взял, опять пустился в излияния.

— Ах, князь, я уважаю вас, глубоко уважаю за ваш отказ давать показания. Но если бы вы только знали, какой вред вы себе делаете. Я не смею говорить, но одно говорю — у-жас-ный.

Я пожал плечами и вышел.

Через несколько времени меня опять позвали еще раз, последний, в следственную комиссию. В дверях показался прокурор Масловский, но он только показался в дверях, перекинулся взглядом с Новицким и выбежал.

А годы шли, и мы все сидели в крепости.

Вот уже два года прошло; несколько человек умерло в крепости, несколько сошло с ума, а о суде ничего не было слышно.

Мое здоровье тоже пошатнулось в конце вто-

рой зимы. Табуретка становилась тяжела в руке, делать мои семь верст мне становилось все труднее и труднее. Я крепился, но «арктическая зимовка»[1] без подъема сил летом брала свое. У меня уже раньше были признаки цынги[2], раз весною она объявилась у меня в слабой степени в Петербурге. Должно быть, я вывез ее из сибирских путешествий на одном хлебе, а петербургская жизнь и усиленная работа в маленькой комнатке не способствовали полному избавлению.

Теперь во тьме и сырости каземата, да еще при усиленной мозговой работе, признаки цынги становились яснее: желудок беспрестанно отказывался переваривать пищу. К тому же гулять меня выводили теперь только на двадцать минут или четверть часа через два дня. В короткие зимние дни в пять-шесть часов успевали выпустить всего двадцать человек в день, а нас, заключенных, было свыше шестидесяти человек.

В марте или апреле 1876 г. нам, наконец, сообщили, что Третье отделение[3] закончило предварительное дознание. Дело перешло к судебным властям, и потому нас перевели в дом предварительного заключения — в тюрьму, примыкающую к зданию суда.

---

[1] Северная зимовка.

[2] Цынга - болезнь, которая бывает от истощения и однообразной пищи.

[3] Так называлось отделение „собственной его императорского величества канцелярии", которое занималось преследованием революционеров.

«Предварилка», как ее называли, — громадная, показная четырех'этажная тюрьма, выстроенная по типу французских и бельгийских образцовых тюрем. Ряды маленьких камер все имеют по окну, выходящему во двор, и по двери, открывающейся на железный балкон. Балконы же различных этажей соединены железными лестницами.

Для многих моих товарищей перевод в «предварилку» явился большим облегчением. Здесь было гораздо больше жизни, чем в крепости, больше возможности переписываться и переговариваться; легче было добиться свидания с родственниками. Перестукивание продолжалось беспрерывно целый день. Подобным путем я даже изложил одному молодому соседу всю историю Парижской коммуны от начала до конца. Что касается здоровья, то в доме предварительного заключения мне стало еще хуже, чем в крепости. Я не выносил спертого воздуха крошечной камеры. Как только паровое отопление начинало действовать, температура из леденящей становилась невыносимо жаркой. Камера имела только четыре шага по диагонали, и когда я начинал ходить, то приходилось беспрестанно поворачиваться; голова начинала кружиться через несколько минут, а короткая прогулка в маленьком дворике, окруженном высокими каменными стенами, нисколько не освежала меня. Что касается тюремного врача, который не желал даже слышать слова «цынга» в «его тюрьме», то лучше

о нем совсем не говорить. Кончилось тем, что я вовсе не мог переваривать даже легкой пищи.

Мне разрешили получать пищу из дому, так как недалеко от суда жила одна моя своячиница, вышедшая замуж за адвоката. Но мое пищеварение стало так плохо, что я с'едал в день только кусок хлеба да одно или два яйца. Силы мои быстро падали, и, по общему мнению, мне оставалось жить только несколько месяцев. Чтобы подняться до моей камеры, находившейся во втором этаже, я должен был раза два отдыхать на лестнице. Помню, как раз старый солдат-часовой жалостливо заметил: «Не дожить тебе, сердешному, до осени».

Родственники мои сильно встревожились. Сестра Лена пробовала хлопотать, чтобы меня выпустили на поруки; но прокурор Шубин ответил ей с усмешкой: «Доставьте свидетельство от врача, что ваш брат умрет через десять дней, тогда я его освобожу». Прокурор имел удовольствие видеть, как сестра упала в кресло и громко разрыдалась в его присутствии. Мои родные, однако, добились того, чтобы меня осмотрел хороший доктор, профессор, ассистент Сеченова. Он осмотрел меня самым тщательным образом и пришел к заключению, что у меня нет никакой органической болезни, но что страдаю я главным образом от недостаточного окисления крови.

— Все, что вам нужно, — это воздух, — заключил он. Он колебался несколько минут, затем ска-

зал решительно: — Что там толковать! Вы не можете оставаться здесь. Вас необходимо перевести.

Дней через десять после этого меня действительно перевели в находившийся тогда на окраине Петербурга Николаевский военный госпиталь, при котором имеется небольшая тюрьма для офицеров и солдат, заболевших во время нахождения под следствием. В эту тюрьму перевели уже двух моих товарищей, когда стало очевидно, что они скоро умрут от чахотки.

В госпитале я начал быстро поправляться. Мне дали просторную комнату в нижнем этаже, рядом с караульной. В ней было громадное, забранное решеткой окно, выходившее на юг, на маленький бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев, а за бульваром тянулось большое открытое пространство, где сотни две плотников строили тогда бараки для тифозных больных. По вечерам они обыкновенно пели хором и так согласно, как только поют в больших плотничьих артелях. По бульварчику взад и вперед ходил часовой; его будка стояла против моего окна.

Окно оставалось открыто весь день, и я упивался солнечными лучами, которых не видал так давно. Всей грудью вдыхал я ароматный майский воздух. Мое здоровье быстро поправлялось, слишком даже быстро, по моему мнению. Скоро я был в состоянии переваривать легкую пищу, силы мои окрепли, и с обновленной энергией я принялся снова за работу.

В крепости я слышал от товарища, сидевшего одно время в госпитальной тюрьме, что оттуда мне будет не трудно бежать. Я сообщил, конечно, друзьям, где нахожусь; сообщил и свои надежды. Побег оказался, однако, гораздо более трудным делом, чем меня уверяли. За мной учрежден был самый бдительный, беспримерный до того времени надзор. У моих дверей поместили часового, и мне никогда не позволяли выходить в коридор. Госпитальные солдаты и караульные офицеры, которые иногда входили ко мне, боялись, повидимому, оставаться со мной более одной или двух минут.

Мои друзья составили несколько планов освобождения, и в том числе были проекты крайне забавные. По одному из них, например, я должен был подпилить решетку в окне. Затем предполагалось, что когда в дождливую ночь часовой задремлет в своей будке, два моих приятеля подползут сзади и опрокинут ее. Таким образом солдат не будет ранен, но просто пойман, как мышь в мышеловке. В это время я должен был выпрыгнуть из окна... Но неожиданно явилось лучшее разрешение вопроса.

— Попроситесь на прогулку! — шепнул мне раз один из солдат. Я так и сделал. Доктор поддержал меня, и мне разрешили ежедневно, в четыре часа, выходить в тюремный двор на прогулку на один час. Я должен был носить все-таки зеленый фланелевый больничный халат, но мне выдавали мои сапоги, панталоны и жилет.

Никогда я не забуду мою первую прогулку. Когда меня вывели и я увидел перед собою заросший травою двор, в добрых триста шагов в глубину и шагов двести в ширину, — я просто замер. Ворота были отперты, и сквозь них я мог видеть улицу, громадный госпиталь напротив и даже прохожих... Я остановился на крылечке тюрьмы и оцепенел на мгновение при виде этого двора и ворот. У одной из стен двора стояла тюрьма — узкое здание, шагов полтораста в длину, с будками для часовых на обоих концах. Оба часовые ходили взад и вперед вдоль здания и таким образом вытоптали тропинку в траве. По этой тропинке мне и велели гулять, а часовые тем временем продолжали ходить взад и вперед, так что один из них был всегда не дальше, как шагах в десяти или пятнадцати от меня. На крылечке сели три госпитальных солдата.

На противоположном конце громадного двора, обнесенного высоким забором из толстых досок, несколько крестьян сбрасывали с возов дрова и складывали их в поленницы вдоль стены. Ворота были открыты, чтобы впускать возы.

Эти открытые ворота производили на меня чарующее впечатление. «Не надо глядеть на них»,— говорил я самому себе, и тем не менее все поглядывал в ту сторону. Как только меня опять ввели в комнату, я тотчас же написал друзьям, чтобы сообщить им благую весть. «Я почти не в силах шифровать, — писал я дрожащей рукой, выводя

непонятные значки вместо цифр. — От этой близости свободы я дрожу, как в лихорадке. Они меня вывели сегодня во двор. Ворота отперты, и возле них нет часового. Через эти ворота я убегу. Часовые не поймают меня». И я набросал план побега. «К воротам госпиталя под'езжает дама в открытой пролетке. Она выходит, а экипаж дожидается ее на улице, шагах в пятнадцати от моих ворот. Когда меня выведут в четыре часа на прогулку, я некоторое время буду держать шляпу в руках; этим я даю сигнал тому, который пройдет мимо ворот, что в тюрьме все благополучно. Вы должны мне ответить сигналом: «Улица свободна». Без этого я не двинусь. Я не хочу, чтобы меня словили на улице. Сигнал можно подать только звуком или светом. Кучер может дать его, направив своей лакированной шляпой светового «зайчика» на стену главного больничного здания; еще лучше, если кто-нибудь будеть петь, покуда улица свободна, — разве если вам удастся нанять серенькую дачу, которую я вижу со двора; тогда можно подать сигнал из окна. Часовой побежит за мной, как собака за зайцем, описывая кривую, тогда как я побегу по прямой линии. Таким образом, я удержу свои пять-шесть шагов расстояния. На улице я прыгну в пролетку, и мы помчимся во весь опор. Если часовой вздумает стрелять, то тут ничего не поделаешь. Это вне нашего предвиденья. В виду неизбежной смерти в тюрьме стоит рискнуть».

Было сделано несколько других предложений, но, в конце концов, этот проект приняли. Наш кружок принялся за дело. Люди, которые никогда не знали меня, приняли участие, как будто дело шло о дорогом им брате. Предстояло, однако, преодолеть массу трудностей, а время мчалось с поразительной быстротой. Я усиленно работал и писал до поздней ночи, но здоровье мое улучшалось, тем не менее, с быстротой, которая приводила меня в ужас. В первый раз, когда меня вывели во двор, я только мог ползти по тропинке по-черепашьи. Теперь же я окреп настолько, что мог бы бегать. Правда, я попрежнему продолжал ползти медленно, как черепаха, иначе мои прогулки прекратились бы; но моя природная живость могла всякую минуту выдать меня. А товарищи мои должны были в это время подобрать человек двадцать для этого дела, найти подходящую лошадь и опытного кучера и уладить сотню непредвиденных мелочей, неминуемых в подобном заговоре. Подготовления заняли уже около месяца, а между тем каждый день меня могли перевести обратно в дом предварительного заключения.

Наконец день побега был назначен — 29 июня. Друзья мои сообщили мне, что на мой сигнал: «В тюрьме все благополучно», они ответят: «Все благополучно и у нас», выпустив красный игрушечный шар. Тогда под'едет пролетка, и кто-нибудь будет петь песню, покуда улица свободна.

Я вышел 29 июня, снял шляпу и ждал воздушного шара, но его не было. Прошло полчаса. Я слышал, как прошумели колеса пролетки на улице; я слышал как мужской голос выводил незнакомую мне песню, но шара не было.

Прошел час, и с упавшим сердцем я возвратился в свою камеру. «Случилось что-нибудь недоброе, что-нибудь не ладно у них», — думал я.

В тот же день случилось невозможное. Около Гостиного двора в Петербурге продаются всегда сотни детских шаров. В этот же день не оказалось ни одного. Товарищи нигде не могли найти шара. Наконец они добыли один у ребенка, но шар был старый и не летал. Тогда товарищи мои кинулись в оптический магазин, приобрели аппарат для добывания водорода и наполнили им шар, но он, тем не менее, упорно отказался подняться: водород не был просушен. Время уходило. Тогда одна дама привязала шар к своему зонтику и, держа последний высоко над головой, начала ходить взад и вперед по тротуару, под забором нашего двора, но я ничего не видел: забор был очень высокий, а дама — очень маленькая.

Как оказалось потом, случай с воздушным шаром вышел очень кстати. Когда моя прогулка кончилась, пролетка проехала по тем улицам, по которым она должна была проскакать в случае моего побега. И тут, в узком переулке, ее задержали возы с дровами для госпиталя. Лошади шли в беспорядке, одни по правую сторону улицы, другие

по левую, и пролетка могла двигаться только шагом; на повороте ее совсем остановили. Если бы я сидел в ней, нас наверное бы поймали.

Теперь товарищи установили целый ряд сигналов, чтобы дать знать, свободны ли улицы или нет. На протяжении около двух верст от госпиталя были расставлены часовые. Один должен был ходить взад и вперед с платком в руках и спрятать платок, как только покажутся возы; другой сидел на тротуарной тумбе и ел вишни, но как только возы показывались, он переставал есть. И так шло по всей линии. Все эти сигналы, передаваясь от часового к часовому, доходили, наконец, до пролетки. Мои друзья сняли также упомянутую выше серенькую дачу, и у ее открытого окна поместился скрипач со скрипкой в руках, готовый заиграть, как только получит сигнал: «Улица свободна».

Побег назначили на следующий день. Дальнейшая отсрочка могла быть опасна — в госпитале уже заметили пролетку. Власти, должно быть, пронюхали нечто подозрительное, потому что накануне побега, вечером, я слышал, как патрульный офицер спросил часового, стоявшего у моего окна: «Где твои боевые патроны?» Солдат стал их неловко вытаскивать из сумки; минуты две он возился, доставая их. Патрульный офицер ругался: «Разве не было приказано всем вам держать четыре боевых патрона в кармане шинели?» Он отошел только тогда, когда солдат это сделал.

— Гляди в оба! — сказал офицер отходя.

Новую систему сигналов нужно было немедленно же сообщить мне. На другой день, в два часа, в тюрьму явилась дама, близкая мне родственница, и попросила, чтобы мне передали часы. Все проходило обыкновенно через руки прокурора, но так как то были просто часы, без футляра, их передали. В часах же находилась крошечная зашифрованная записочка, в которой излагался весь план. Когда я увидел ее, меня просто охватил ужас,— до такой степени поступок поражал своей смелостью. Жандармы уже разыскивали даму по другому делу, и ее задержали бы на месте, если бы кто-нибудь вздумал открыть крышку часов, но я видел, как моя родственница спокойно вышла из тюрьмы и потихоньку пошла по бульвару, крикнув мне, стоявшему у окна: «А вы часы-то проверьте!»

Я вышел на прогулку по обыкновению в четыре часа и подал свой сигнал. Сейчас же я услышал стук колес экипажа, а через несколько минут из серого домика до меня донеслись звуки скрипки. Но я был в то время у другого конца здания. Когда же я вернулся по тропинке к тому концу, который был ближе к воротам, шагах в ста от них, часовой стоял совсем у меня за спиной. «Пройду еще раз!» — подумал я. Но прежде чем я дошел до дальнего конца тропинки, звуки скрипки внезапно оборвались.

Прошло больше четверти часа в томительной

тревоге, прежде чем я понял причину перерыва: в ворота в'ехало несколько тяжело нагруженных дровами возов, и они направились в другой конец двора. Немедленно затем скрипач заиграл бешеную и подмывающую мазурку Контского, как бы желая внушить: «Теперь смелей! Твое время! Пора!» Я медленно подвигался к тому концу тропинки, который был поближе к воротам, дрожа при мысли, что звуки мазурки могут оборваться, прежде чем я дойду до конца.

Когда я достиг его, то оглянулся. Часовой остановился в пяти или шести шагах за мной и смотрел в другую сторону. «Теперь или никогда!» помню я, сверкнуло у меня в голове. Я сбросил зеленый фланелевый халат и пустился бежать.

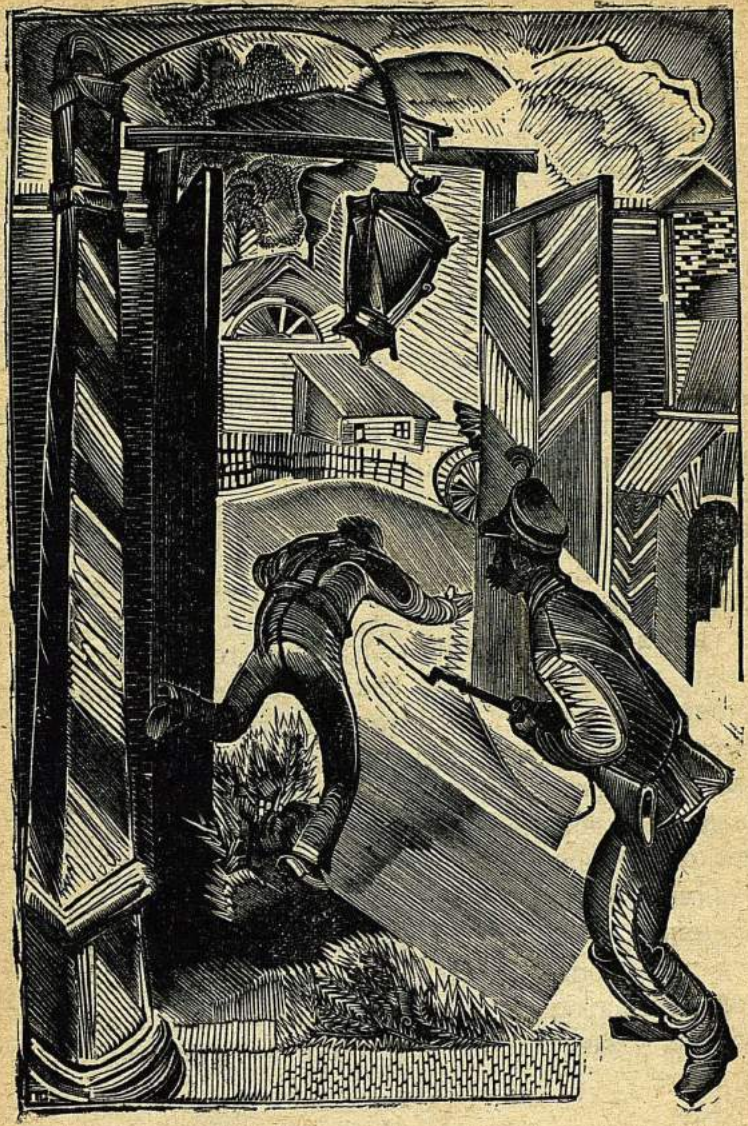
Задолго до этого я практиковался, как снимать мой бесконечный и неуклюжий балахон. Он был такой длинный, что мне приходилось таскать подол его на левой руке, как дамы держат шлейф амазонки. Несмотря на все старания, я не мог скинуть халат в один прием. Я подпорол швы под мышками, но и это не помогало. Тогда я решил научиться снимать его в два приема: первый — скинуть шлейф с руки, второй — сбросить халат на землю. Я терпеливо упражнялся в моей комнате до тех пор, покуда научился делать это чисто, как солдат ружейные приемы. «Раз, два!» — и халат лежал на земле.

Не очень-то доверяя моим силам, я побежал сначала медленно, чтобы сберечь их. Но едва я

сделал несколько шагов, как крестьяне, складывавшие дрова на другом конце двора, заголосили: «Бежит! Держи его! Лови его!» — и кинулись мне наперерез к воротам. Тогда я помчался, что было сил. Я думал только о том, чтобы бежать скорее. Прежде меня беспокоила выбоина, которую возы вырыли у самых ворот, теперь я забыл ее. Бежать, бежать! Насколько хватит сил.

Друзья мои, следившие за всем из окна серенького домика, рассказывали потом, что за мной погнались часовой и три солдата, сидевшие на крылечке тюрьмы. Несколько раз часовой пробовал ударить меня сзади штыком, бросая вперед руку с ружьем. Один раз друзья даже подумали, что вот меня поймали. Часовой не стрелял, так как был слишком уверен, что догонит меня. Но я удержал расстояние. Добежавши до ворот, солдат остановился.

Выскочив за ворота, я, к ужасу моему, заметил, что в пролетке сидит какой-то штатский в военной фуражке. Он сидел, не оборачиваясь ко мне. «Пропало дело!»— мелькнуло у меня. Товарищи сообщали мне в последнем письме: «Раз вы будете на улице, не сдавайтесь; вблизи будут друзья, чтобы отбить вас», и я вовсе не желал вскочить в пролетку, если там сидит враг. Однако, когда я стал подбегать, я заметил, что сидевший в пролетке человек, с светлыми бакенбардами, очень похож на одного моего дорогого друга. Он не принадлежал к нашему кружку, но мы были близ-



кими друзьями, и не раз я имел возможность восторгаться его поразительным мужеством, смелостью и силой, становившейся неимоверной в минуту опасности.

«С какой стати он здесь? — подумал я. — Возможно ли это?»

Я едва не выкрикнул имени, но во-время спохватился и, вместо этого, захлопал на бегу в ладоши, чтобы заставить сидящего оглянуться. Он повернул голову.

— Сюда! Скорее, скорее! — крикнул он, отчаянно ругая на чем свет стоит и меня, и кучера, и держа в то же время наготове револьвер. «Гони, гони! Убью тебя!» — кричал он кучеру. Великолепный призовой рысак, специально купленный для этой цели, помчался сразу галопом. Сзади слышались вопли: «Держи его! Лови!», а друг в это время помогал мне надеть пальто и цилиндр.

Но главная опасность была не столько со стороны преследовавших, как со стороны солдата, стоявшего у ворот госпиталя, почти напротив того места, где дожидалась пролетка. Он мог помешать мне вскочить в экипаж или остановить лошадь, для чего ему достаточно было бы забежать несколько шагов вперед. Поэтому одного из товарищей командировали, чтобы отвлечь беседой внимание солдата. Он выполнил это с большим успехом. Солдат одно время служил в госпитальной лаборатории, поэтому приятель завел разговор на ученые темы, именно о микроскопе и о

чудесах, которые можно увидеть посредством его. Речь зашла о некоем паразите человеческого тела.

— Видел ли ты, какой большущий хвост у ней? — спросил приятель.

— Откуда у ней хвост? — возражал солдат.

— Да как же! Вот какой под микроскопом.

— Не ври сказок! — ответил солдат. — Я-то лучше знаю. Я ее, подлую, первым делом под микроскоп сунул.

Научный спор происходил как раз в тот момент, когда я пробегал мимо них и вскакивал в пролетку. Это похоже на сказку, но между тем так было в действительности.

Экипаж круто повернул в узкий переулок, вдоль той самой стены, у которой крестьяне складывали дрова, и где теперь никого не было, так как все погнались за мной. Поворот был такой крутой, что пролетка едва не перевернулась. Она выровнялась только тогда, когда я сильно навалился вовнутрь и потянул за собою приятеля. Лошадь теперь бежала крупной, красивой рысью по узкому переулку, и мы повернули налево. Два жандарма, стоявшие у дверей питейного, отдали честь военной фуражке Веймара. «Тише, тише!» — говорил я ему, так как он был все еще страшно возбужден. «Все идет отлично. Жандармы даже отдают тебе честь!» Тут кучер обернулся ко мне, и в сияющей от удовольствия физиономии я узнал другого приятеля.

Всюду по дороге мы встречали друзей, которые подмигивали нам или желали успеха, когда мы мчались мимо них на нашем великолепном рысаке. Мы выехали на Невский проспект, повернули в боковую улицу и остановились у одного под'езда, где и отослали экипаж. Я вбежал по лестнице и упал в об'ятия моей родственницы, которая дожидалась в мучительной тоске. Она и смеялась и плакала, в то же время умоляя меня переодеться поскорее и подстричь бросающуюся в глаза бороду. Через десять минут мы с моим другом вышли из дому и взяли извозчичью карету.

Тем временем караульный офицер в тюрьме и госпитальные солдаты выбежали на улицу, не зная, что собственно делать. На версту кругом не было ни одного извозчика, так как все были наняты товарищами. Старая баба в толпе оказалась умнее всех.

— Бедненькие! — произнесла она, как будто говоря сама с собой.— Они, наверное, выедут на Невский, а там их и поймают, если кто-нибудь поскачет напрямик этим переулком.

Баба была совершенно права. Офицер побежал к вагону конки, который стоял тут же, и потребовал у кондукторов лошадей, чтобы послать кого-нибудь верхом перехватить нас. Но кондуктора наотрез отказались выпрягать лошадей, а офицер не настаивал.

Что же касается скрипача и дамы, снявших серенький домик, то они тоже выбежали, присоеди-

СТАРОСОВ

нились к толпе вместе с старухой и слышали, таким образом, ее совет, а когда толпа рассеялась, они преспокойно ушли себе домой.

Был прекрасный вечер. Мы покатили на острова, куда шикарный Петербург отправляется летом в погожие дни любоваться закатом. По дороге мы заехали на далекой улице к цырюльнику, который сбрил мне бороду. Это, конечно, изменило меня, но не очень сильно. Мы катались бесцельно по островам, но не знали, куда нам деваться, так как нам велели приехать только поздно вечером туда, где я должен был переночевать.

— Что нам делать теперь? — спросил я моего друга, который тоже был в нерешительности.

— К Донону! — приказал он вдруг извозчику.— Никому не придет в голову искать нас в модном ресторане. Они будут искать нас везде, но только не там, а мы пообедаем и выпьем также за успешный побег.

Мог ли я возразить что-нибудь против такого благоразумного предложения? Мы отправились к Донону, прошли залитые светом залы, наполненные обедающими, и взяли отдельный кабинет, где и провели вечер до назначенного нам часа. В дом же, куда мы заезжали прямо из тюрьмы, нагрянула часа два спустя жандармерия. Произвели также обыски почти у всех моих друзей. Никому не пришло, однако, в голову сделать обыск у Донона.

Два дня спустя я должен был поселиться под чужим паспортом в квартире, снятой для меня. Но дама, которой предстояло сопровождать меня туда в карете, решила для предосторожности сперва поехать сама. Оказалось, что вокруг квартиры шпионы кишмя кишат. Друзья так часто справлялись там, все ли благополучно, что полиция заподозрила что-то. Кроме того, моя карточка была в сотнях экземпляров распространена Третьим отделением между полицейскими и дворниками. Сыщики, знавшие меня в лицо, искали меня на улицах. Те же, которые меня не знали, бродили в сопровождении солдат и стражников, видевших меня в тюрьме. Царь был взбешен тем, что побег мог совершиться в его столице, среди бела дня, и отдал приказ: «Разыскать во что бы то ни стало».

В Петербурге оставаться было невозможно, и я укрывался на дачах, в окрестностях. Вместе с несколькими друзьями я прожил под столицей в деревне, куда в то время года часто отправлялись петербуржцы устраивать пикники. Наконец, товарищи решили, что мне следует уехать за границу. Но в шведской газете я вычитал, что во всех портовых и пограничных городах Финляндии и Прибалтийского края находятся сыщики, знающие меня в лицо; поэтому я решил поехать по такому направлению, где меня меньше всего могли ожидать. Снабженный паспортом одного из приятелей, я в сопровождении одного товарища проехал Финляндию и добрался до отдаленного порта в

Ботническом заливе, откуда и переправился в Швецию.

Я проехал Швецию, нигде не останавливаясь, и прибыл в Христианию, откуда на одном английском пароходе уехал в Англию...

В Немецком море ревела буря, когда мы подходили к берегам Англии. Но я с удовольствием приветствовал непогоду. Меня радовала борьба нашего парохода с яростными волнами. Целыми часами просиживал я на форштевне[1], обдаваемый пеною волн. После двух лет, проведенных в мрачном каземате, каждый нерв моего внутреннего «я» трепетал и наслаждался полным биением жизни. Пароход наш зарывался носом в громадные волны, которые рассыпались белой пеной и брызгали по всей палубе. Я сидел на самом носу парохода, на сложенных канатах, и радовался ветру, расходившимся волнам, качке, наслаждаясь возвратом к жизни после долгого кошмара и прозябания в крепости.

---

[1] Форштевень — брус, образующий носовую оконечность судна.

ЦЕНА 17 коп.

60 =

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва—Ленинград

Л. ТЫНЯНОВ

РЫЛЕЕВ

Рис. Е. САФОНОВОЙ

Стр. 68. Ц. 40 к.

ПРОСТО, со знанием материалов, написанная в беллетристической форме биография известного декабриста Рылеева. Детство. Корпус. Заграничные походы. Тайное общество. История декабрьского восстания (1825 г.). Арест и казнь.

•

Л. САВЕЛЬЕВ

ОХОТА НА ЦАРЯ

Гравюры на дереве С. МОЧАЛОВА

Стр. 36. Ц. 25 к.

ОПИСАНЫ покушения революционеров, членов партии Народной Воли, на жизнь царя Александра II. Арест главного организатора и вождя партии Желябова. Новое покушение и смерть Александра от взрыва бомбы 1 марта 1881 г. Суд над революционерами и смертная казнь.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ И МАГАЗИНАХ ГОСИЗДАТА